

ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА XVIII ВЕКА¹

В последние десятилетия в советском литературоведении наряду с термином «история литературы» появился термин «история литературного процесса». Факт этот не случаен. Всякий раз, когда в какой-либо науке возникает новый термин, это обычно означает, что ученые обнаружили какие-то новые объекты наблюдения и изучения и в связи с этим появилась необходимость дать им соответствующие новые обозначения.

Насколько мне известно, попыток дать определение понятия «история литературного процесса» в печати еще не было, и поэтому пока каждый употребляющий этот термин вкладывает в него свое содержание. Все же из контекста, в котором соседствуют термины «история литературы» и «история литературного процесса», явствует, что они не синонимы и что в то же время они обозначают одно и то же явление — развитие литературы, — но взятое, рассматриваемое под двумя различными углами зрения: «история литературы» — конкретный рассказ о развитии литературы какого-нибудь народа на всем протяжении ее существования или на каком-нибудь отрезке, а «история литературного процесса» — это обобщение того же материала, это выделение основных проблем, теоретических вопросов, решавшихся в данной литературе в данный отрезок времени.

Вместе с тем история литературного процесса не совпадает с теорией литературы или с методологией литературы. Скорее всего ее можно было бы назвать проблематикой истории литературы, так как она имеет дело с конкретными авторами, произведениями, литературными событиями не в их хронологической и пространственной последовательности, а с обобщенными представлениями о их ходе, о логике развития литературы.

¹ Впервые опубликовано в кн.: *Studien zur Geschichte der russischen Literatur des 18. Jahrhunderts*, Bd. 3, Berlin, 1968, S. 9—56. Печатается по рукописи. — *Ред.*

Было бы очень соблазнительно провести параллель между историей литературы и историей литературного процесса, с одной стороны, и арифметикой и алгеброй, с другой, но, как правильно говорят немцы, всякое сравнение хромает, и сопоставлять явления разных логических рядов нецелесообразно.

В настоящей статье я хочу изложить свои наблюдения и размышления над особенностями русского литературного процесса в XVIII веке. Мне кажется, это тем более необходимо, что для ряда исследователей еще остается нерешенным вопрос о сущности и смысле литературы XVIII века, — является ли она затянувшимся эпилогом древнерусской литературы, представляет ли она пролог к классической русской литературе XIX века или, будучи и тем, и другим или не будучи ни тем, ни другим, имеет права на то, чтобы ее рассматривали как самостоятельный этап истории русской литературы.

1

Хотя почти вся русская литература конца XVII — начала XVIII века дошла до нас в рукописной форме, большей частью в анонимных и недатированных текстах, все же по стилистическим и палеографическим признакам (почерки, водяные знаки) литературоведы дореволюционного и советского времени выделили ее немногочисленные памятники из остальной русской рукописной литературы древнего периода и довольно детально и точно изучили. Их основные выводы следующие: после взятия турецкой крепости Азов (1696), крупного политического события, вызвавшего ряд стихотворных панегирических произведений, русская литература в течение ближайших двух десятилетий не породила никаких сколько-нибудь заслуживающих внимания памятников ни в прозе, ни в стихах; даже начавшаяся в 1701 году Северная война (со Швецией) не стала побудительной причиной к оживлению литературной деятельности. Никаких новых идей, никаких новых форм нельзя было встретить в тогдашней русской литературе; средневековое церковно-аскетическое мировоззрение по-прежнему сожвало умы и глушило литературные дарования. Может быть, с наибольшей отчетливостью отразилось это состояние русской литературы в коротеньком стихотворении,

напечатанном в 1700 году славянскими литерарами, среди прочих аналогичных вирш, на гравированном листе, озаглавленном «Зерцало грешного»:

Сим молитву деет,
Хам пшеницу сеет,
Афет власть имеет,
Смерть всеми владеет¹.

В этих четырех строчках как бы закрепилось средневековое представление о неизменности и незыблемости миропорядка; три основных группы феодального общества — духовенство, дворяне и крепостное крестьянство, — обозначенные именами трех сыновей библейского патриарха Ноя, как бы устраняют возможность появления каких-либо других социальных группировок (например, горожан — ремесленников, купцов и т. д.); верховная владычица Смерть, уравнивая судьбы всех людей, как бы зачеркивает жизненную деятельность каждой из этих общественных групп и каждого отдельно человека и делает излишними любые попытки нарушить сложившийся миропорядок.

Однако наряду с этой декларацией неизменности и тщетности существования мира в русской литературе конца XVII века мы встречаем факты, свидетельствующие о том, что в этом традиционном мировоззрении появились какие-то новые черты, новые веяния, которые постепенно все громче давали о себе знать. Уже Симеон Полоцкий, первый по времени московский поэт-силлабик (1629—1680), пропагандировал просветительные идеи:

Само чтение многи умудряет,
яко бо свещу во тьме возжигает².

Он не боится рекомендовать своим читателям занятия философией:

Философии конец³ тако людем жити,
еже бы по-силному богу точным быти⁴.

¹ Быкова Т. А. Зерцало грешного. — В кн.: Быкова Т. А. и Гуревич М. М. Описание изданий, напечатанных кириллицей. 1689 — январь 1725 г. М. — Л., 1958, с. 344 (здесь опечатка: «Афет» вместо церковнославянского «Афет»).

² Из истории философской и общественно-политической мысли Белоруссии. Избр. произв. XVI — начала XIX в. Минск, 1962, с. 252.

³ Цель.

⁴ Указ. изд., с. 255.

Симеон Полоцкий внушал своему ученику, царю Федору Алексеевичу, мысль о необходимости просвещать подданных:

Мало есть правды царю мудру быти,
а подчиненных мудрости лишити..
Вели и рабом мудрости искати,
а тою тебе будут работати¹.

Ученики Симеона Полоцкого шли по пути своего предшественника. Сильвестр Медведев, обращаясь к регентше московской, царевне Софии, писал в 1685 году:

Тьма, мрак без солнца, без мудрости тоже:
тобою оную утверди в нас, боже,
Дабы в России мудрости сияти,
имя ти всюду в мире прославляти.
И понос от нас хочещи отъяти,
яко Россия не весть наук знати.
Тоя² от тебе свет нача сияти,
в Москве невежества темность прогоняти..³

Другой ученик Симеона — Карион Истомирин писал той же царевне Софье (1682):

Потщися ради всемогуща бога,
у него же есть премудрости многа,
О учении промысл сотвориши,
мудрость в России святу вкоренити,
Да учатся той юны отрочата
и навькают зело дела святая..
Паки ты молю, деву благородну,
да устроиши науку свободну..⁴

И в «Букваре» (1696) Карион Истомирин продолжает обосновывать пользу учения:

Вторая память книга человеком,
что бе, последним поминает веком,
И то являет, что впретвь имать быти.
За та всем должно господа хвалити.
Толики пользы да бы верным взяти,
повеле типом⁵ сей букварь издати⁶.

¹ Из истории философской и общественно-политической мысли Белоруссии, с. 252.

² Мудрости.

³ Русская силлабическая поэзия XVII—XVIII вв. Л., 1970, с. 194.

⁴ Вирши. Силлабическая поэзия XVII—XVIII веков. Л., 1935, с. 146.

⁵ Типографским способом.

⁶ Быкова Т. А. и Гуревич М. М. Описание изданий, напечатанных кириллицей, с. 60.

Эта просветительская пропаганда еще тесно связана с религией, с церковными представлениями, но разве немецкий пиэтизм конца XVII — начала XVIII века не был так же связан с религией и церковными представлениями? Во всяком случае, «просветительство» Симеона Полоцкого и его учеников было конкретным свидетельством того, что старомосковское церковно-аскетическое мировоззрение перестало удовлетворять часть тогдашнего русского общества, и именно передовую часть, и, наряду с утверждениями о незыблемости и неизменности миропорядка, зазвучали речи о том, что книга, наука «и то являет, что впредь имать быти».

Таким образом, в ту характеристику русской литературы конца XVII — начала XVIII века, которая приведена выше, необходимо внести поправку: в ней не только не было застоя и упадка, но шла борьба между двумя направлениями, — традиционалистским, консервативным и «просветительским», передовым. И если в ближайшие затем два-три десятилетия «просветительское» направление одержало верх и достигло заметных литературных успехов в поэтическом творчестве Стефана Яворского («Последнее книга целование»), Феофана Прокоповича, Кантемира, а затем Тредиаковского и Ломоносова, то это могло произойти и произошло только потому, что оно было органично, было вызвано к жизни историческими потребностями русской жизни этого периода.

Если мы теперь обратимся к хотя бы еще более беглому обзору состояния русской литературы в конце XVIII — начале XIX века, то как бы осторожны и даже скептически ни были мы настроены, нас не может не восхитить великолепное зрелище, которое откроется перед нами. В 1790 году выходит в свет «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева, через год-другой Радищев пишет поразительный по глубине психологического анализа «Дневник одной недели». Тогда же начинается замечательная деятельность Карамзина, на протяжении десяти-двенадцати лет создающего «Письма русского путешественника», «Бедную Лизу», «Остров Борнгольм», «Мою исповедь», «Марфу-посадницу», «Рыцаря нашего времени». В 1780—1800-е годы пишут свои лучшие произведения гениальный русский поэт Державин и рядом с ним молодой Крылов, а на пороге XIX века стоят М. Н. Муравьев, Капнист, Жуковский, Батюшков, Гри-

боедов и, наконец, юный Пушкин. За какие-нибудь 100—120 лет происходит прыжок от безымянного автора примитивного четверостишия «Сим молитву деет» до южных поэм Пушкина!

2

Чем же вызвано было такое стремительное развитие, такой блистательный взлет?

Если бы мы обратились с этим вопросом к литературоведам XIX — начала XX века, они, во-первых, пожалели бы плечами по поводу «неумеренных похвал» предшественникам Пушкина, а, во-вторых, без малейших колебаний ответили бы, что причиной количественного и качественного роста русской литературы в течение XVIII века была европеизация России, особенно сильно отразившаяся на творчестве писателей, подражавших европейским авторам. Для точности прибавим, что такой же ответ мы можем услышать и из уст некоторых современных западных литературоведов, читающих курсы истории русской литературы XVIII века.

Но правилен ли этот ответ? Не являются ли слова «европеизация России» чем-то похожим на ответ, но еще не подлинным ответом?

В понятие «европеизация России» подавляющее большинство авторов XIX—XX веков вкладывало абстрактно-вневексовое содержание. В толковых словарях оно объяснялось как «перестройка на европейский лад», «усвоение европейских понятий и бытового уклада». Но существовал ли в конце XVII — начале XVIII века, когда началась «европеизация России», какой-то сверхнациональный, всеобщий «европейский лад»? Были ли англичане, голландцы и французы того времени, с одной стороны, и испанцы, итальянцы, с другой, и немцы и скандинавы, с третьей, в одинаковой мере выразителями «европейских понятий и бытового уклада»? Не менялась ли сама Европа в течение этих десятилетий в социальном, политическом и культурном отношении? И когда авторы XIX—XX веков говорили, а некоторые и сейчас говорят о европеизации России в конце XVII—XVIII века, какую конкретно Европу имеют они в виду, Англию и Голландию, или Францию, или католическую Испанию? Если немцев, то каких, — протестантов Северной Германии или монархическо-католическую Австрию?

Итак, как только мы пытаемся конкретизировать понятие «европеизация России» в географическом и культурном отношении, мы сразу обнаруживаем его зыбкость, неопределенность.

Еще в 1912 году В. И. Ленин писал в статье «Возрастающие несоответствия»: «Словечко «европеизация» оказывается таким общим, что оно служит для запутывания дела, для затемнения насущных вопросов политики»¹.

И в то же время В. И. Ленин не отрицал самого процесса «европеизации», но иначе понимал и разъяснял его: «Несомненно, что Россия, вообще говоря, европеизируется, то есть перестраивается по образу и подобию Европы (причем к «Европе» надо теперь причислять, вопреки географии, Японию и Китай)»².

В других статьях Ленин показывает, что понятие «европеизация» есть понятие о форме классовой борьбы, об особой форме угнетения господствующим классом классов трудящихся. «Развитие русского государственного строя за последние три века показывает нам, что он изменял свой классовый характер в одном определенном направлении (...), которое можно назвать направлением к буржуазной монархии»³. Однако, говорит Ленин в другом месте, «и самодержавие, и конституционная монархия, и республика суть лишь разные формы классовой борьбы, причем диалектика истории такова, что, с одной стороны, каждая из этих форм проходит через различные этапы развития ее классового содержания, а с другой стороны, переход от одной формы к другой нисколько не устраняет (сам по себе) господства прежних эксплуататорских классов при иной оболочке»⁴.

Таким образом, «европеизация России», по Ленину, была не абстрактным и абсолютным понятием, а формой или даже формами, с помощью которых господствующий класс России осуществлял свою диктатуру на протяжении веков. В приведенных выше словах Ленина следует особенно обратить внимание на то, что процесс этот диалектичен, что каждая форма классовой борьбы проходит через различные этапы своего классового содержания и,

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 22, с. 371.

² Там же.

³ Там же, т. 20, с. 121, 187.

⁴ Там же, т. 17, с. 346.

следовательно, «европеизация» при Петре I имела иной характер, иной смысл и историческое значение, чем, например, при Екатерине II, при Александре I и т. д.

Из всего сказанного явствует, что литературовед, изучающий историю русской литературы XVIII века, не может и не должен употреблять термин и понятие «европеизация», не отдав себе предвзвешенно отчета в его классовом, в его историческом содержании и смысле: Петр в своей «европеизаторской» политике ориентировался на одни стороны тогдашней европейской культуры, в основном на голландскую и — шире — севернонемецкую, Елизавета — на французскую, Екатерина II — по существу на австрийскую и — меньше — на прусскую, но и Петр, и его преемники не ставили своей целью производить изменения в экономической и социальной структуре русского общества. Значит, в русской государственной политике XVIII века «европеизация» не охватывала всех сторон жизни и не охватывала как раз главных, основных. Иными словами, «европеизация» составляла только часть правительственной политики, а не все. Главное же содержание политики Петра, сущность его реформ заключалась в борьбе за создание и упрочение международного значения России, соответствующего ее территории и количеству населения, а также за обновление, приношение устаревшей государственной системы России к нуждам господствующего класса. Одним из важнейших принципов этого приношения была секуляризация общественной жизни, резкое ограничение влияния церкви и духовенства на культуру и быт, на первых порах хотя бы столичного дворянства.

Все это показывает, что «европеизация» в начале XVIII века в основном затронула только верхние, столичные слои русского общества и при этом преимущественно проявилась в области культуры и сначала даже только быта.

Но разве эти сферы автономны, разве они не зависят от социально-политической и экономической базы общества? Таким образом, из сказанного закономерно вытекает вывод, что усваивавшиеся в разные моменты XVIII века элементы «европейской» культуры не могли не подвергнуться в России существенным изменениям под воздействием условий экономических (крепостное право) и политических (самодержавие), а также старых московских культурных традиций.

А раз так, то можно ли утверждать, что громадный скачок в развитии русской литературы в течение XVIII века явился результатом одной только «европеизации России»?

3

Допустим все-таки, что указанный качественный скачок явился следствием «европеизации России». Что же это фактически должно означать? Что «европеизация» создала таких писателей, как Ломоносов, Фонвизин, Державин, Карамзин и Радищев? Или что она способствовала развитию их дарований? Думаю, едва ли кто-нибудь станет утверждать, что, не будь «европеизации», не было бы названных писателей: ведь литературная деятельность Симеона Полоцкого целиком прошла до начала «европеизации России», равным образом и его учеников Сильвестра Медведева и Кариона Истомина. Новейшие разыскания проф. А. В. Позднеева в области так называемой «книжной песни» прибавили еще ряд имен поэтов конца XVII — начала XVIII века. Значит, в русской жизни постепенно накапливались литературные силы еще в XVII веке, и развитие русской литературы в XVIII веке, несомненно, шло бы своим путем и без «европеизации».

Следует ли из этого, что «европеизация» никакой положительной роли в количественном и качественном росте русской литературы не сыграла, что и без нее все обошлось бы, как требовалось? Конечно, нет! «Европеизация» русской литературы сыграла определенно положительную роль в этом процессе, но чтобы понять ее подлинное значение и действительные размеры, надо учесть, что старые литературоведческие теории о якобы полном разрыве между древнерусской литературой и литературой XVIII века возникли в XIX веке, когда наша наука не располагала такими обширными материалами, какие находятся сейчас в ее распоряжении, и когда общественно-политическая борьба между славянофилами и западниками подсказывала неправильное понимание соотношения между древнерусской культурой и культурой петровской России.

Мы не станем здесь входить в рассмотрение вопроса о том, возможны ли в истории, в том числе и в истории литературы, полные разрывы между одной эпохой и

другой; отметим только, что работы ряда дореволюционных и советских литературоведов позволили с полной определенностью утверждать, что между литературой древнего периода и литературой начала XVIII века разрыва не было, что, насколько можно судить по дошедшим до нас материалам (каталогам личных библиотек XVIII века, отзывам читателей и проч.), литература допетровского времени продолжала в XVIII веке еще долго обращаться в читательских кругах, еще долго, но все же постепенно уступая место новой литературе и оставаясь в обращении у малокультурных слоев русского общества.

Употребив выше выражение «новая литература», я вовсе не имел в виду, что вдруг в какой-то момент XVIII века, поддающийся более или менее точной фиксации во времени, возникла какая-то качественно отличная от прежней, новая русская литература. Процесс этот протекал неприметно, исподволь. Старые литературные формы и жанры лишь понемногу, постепенно обретали новые черты, сперва даже не останавливавшие на себе внимания современников и только позднее проявившиеся в качестве новых явлений. Еще менее заметно создавался новый литературный язык. Вместо строго и резко разграниченных церковнославянского и разговорно-русского языков, в литературном обиходе возникло странное для современников смешение обоих языков, тот литературный язык, который Ломоносов назвал российским. Правда, знакомство русских людей в начале XVIII века с многими новыми предметами, явлениями и понятиями и их обозначениями в европейских языках сказалось на обилии «варваризмов» (если применять этот термин для обозначения понятий не более низкой, а более высокой культуры), — в особенности в петровскую эпоху, но со времени Ломоносова этот процесс входит в нормальные рамки.

Языковеды установили, что в течение XVIII века происходили изменения и в синтаксисе русского языка, сначала под воздействием латинского синтаксиса, а затем французского¹. Следует ли, однако, из этого, что эта «европеизация» русского литературного языка была явлением случайным, не органичным, что она зависела сперва от прихоти Ломоносова, затем Карамзина? Не

¹ Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв. М., 1934; 2-е изд. М., 1938.

правильнее ли видеть в этом процессе проявление того, что было на самом деле: быстрое развитие русской культуры требовало создания синтаксиса, который отвечал бы возросшим интеллектуальным понятиям и запросам культурных слоев русского общества, и наиболее чуткие тогдашние писатели, начиная с Кантемира, автора дипломатических «реляций», искали подходящие приемы, соответствующие средства в знакомых им, превосходно разработанных языках, в их отстоявшемся синтаксисе? Таким образом, и здесь «европеизация» ничего не навязала, не повредила естественному развитию русского языка, а помогла и ускорила этот естественный процесс.

Попутно следует отметить, что с соответствующими изменениями подобный же процесс европеизации в разные времена — иногда раньше, иногда позже — имел место во всех европейских языках и литературах, после того как Данте впервые поставил теоретически и практически вопрос об использовании, наряду с международной латынью, также и народного (национального) языка.

Подведем наш первый итог: «европеизация» представляла собой процесс «подтягивания» России к культурному уровню дворянско-буржуазных государств тогдашней Европы — прежде всего Голландии и северонемецких королевств и княжеств — и ничего не создала в русском языке и литературе, но очень способствовала их развитию, помогла этому процессу, ускорила его. Но, говоря об «европеизации», мы должны помнить, что этим термином мы покрываем два понятия: обращение к источникам античным и к собственно европейским. Но об этом подробнее будет сказано дальше.

4

Уже в XVIII веке некоторые наблюдательные европейцы — как жившие в России, так и следившие за ее развитием у себя на родине — задумывались над причинами столь быстрого прогресса русской культуры и приходили к заключению, что русские люди обладают большой переимчивостью, способностью к подражанию, к усвоению чужого, но что в то же время они лишены творческого дарования, неспособны создавать что-либо оригинальное. Как видно из этого, умение наблюдать вовсе не означает также умения правильно понимать и объяснять сделанные наблюдения.

В самом деле, можно ли было западным наблюдателям русской культуры XVIII века, подходившим к оценке ее явлений со своей «европейской» меркой, не знавшим истории древнерусской культуры, искусства, литературы, часто — вовсе не видевшим России или бывавшим только в Петербурге и — реже — в Москве, — можно ли им было видеть самостоятельные черты русского национального характера и их отражение в окружающей действительности? Беря за мерило оценки свои «европейские» культурные представления XVIII века, отрицая свое собственное национальное творчество эпохи средневековья как варварское, эти «авторитетные» судьи иначе и не могли понимать и характеризовать наблюдаемый ими факт быстрого роста русской культуры в течение нескольких десятилетий XVIII века.

В приведенной выше формуле — «переимчивы, способны к подражанию — лишены творческого дарования, неспособны к самостоятельному творчеству» — следует различать первую половину и вторую. Это не значит, однако, что она правильна в первой части и ошибочна во второй, или наоборот; не значит это также, что она вообще, во всех отношениях, неправильна. Говоря о переимчивости, способности русских XVIII века к подражанию, усвоению, европейские наблюдатели правильно констатировали факт быстрой ориентировки русских людей в новых для них областях культуры, правильно подметили их способность легко разбираться в незнакомой сфере научной или культурной деятельности. Иными словами, признание за русскими способности к подражанию, способности переимчивости означало признание за ними способности к анализу и синтезу незнакомых явлений, так как подражание вовсе не означает бездумное механическое воспроизведение чего-либо, без применения сообразительности, смекалки, без — и это главное, — учета действия национальных традиций.

Было ли, однако, правильно определено как подражание то, что видели эти наблюдатели? В данном случае, как, впрочем, и во многих других, если не все, то большая часть правильного решения зависит от того, что понимается под словом «подражание». Обычно в это понятие вкладывается некоторый осуждающий оттенок. Если он понятен и в известной мере оправдываем в XIX—XX веках, то это осуждение не совсем понятно в условиях XVIII века, когда одним из требований, предъявлявшихся к любому

искусству, в особенности к литературе, было «подражательные образцы». Получалась странная непоследовательность: в теории требовалось «подражание образцам», на практике «способность к подражанию» являлась основанием для осуждения. Или, может быть, мы неправильно, с наших сегодняшних позиций, понимаем первую часть рассматриваемой формулы? Но нет, — ее вторая половина не оставляет и тени сомнения в том, что западные наблюдатели России XVIII века отказывали тогдашним русским в способности к оригинальному творчеству, оставляя им только способность к подражанию.

Не станем входить в подробное рассмотрение того, обошлась ли собственная культура этих европейских наблюдателей без периода «подражания» и возможно ли вообще развитие культуры какого-либо народа, позже своих соседей вступившего на историческое поприще, без усвоения того, что достигнуто другими народами. Для нас ясно, что путь исторического развития человечества не похож на путь железнодорожного движения, осуществляющегося по строгому графику: путь исторического развития народов, выступивших на историческую арену позднее своих соседей, протекает быстрее, они «подтягиваются» к существовавшему в то время культурному уровню в ускоренном темпе, их «график» имеет уплотненный, более насыщенный фактами характер.

Этот процесс ускоренного «подтягивания» осуществляется, однако, не на голом месте: выступая на поприще истории, народы не являются *tabula rasa* (чистыми досками) античных и средневековых философов: во всякий исторический момент у любого народа существуют свои традиции, которые чаще всего бессознательно присутствуют в различных сферах деятельности данного национального коллектива, — это прежде всего язык, затем, для периодов до XIX—XX веков, религия, далее исторические, географические, климатические условия и, конечно же, экономический и социально-политический уклад. Не во все периоды жизни народа традиции действуют одинаково, в этой области бывают своего рода приливы и отливы воздействия традиций, но от некоторых из них, и в первую очередь от языка, народ «освобождается» с наибольшим трудом.

Таким образом, процесс «подтягивания» народа, «догоняющего» своих соседей, к культурному уровню, достигнутому ими ранее, по существу является процессом

перестройки им своих национальных традиций, приурочения их к новым историческим условиям. Для внешних наблюдателей, какими были в XVIII веке западные наблюдатели России, это был процесс «подражания» европейцам, для тех русских людей, которые анализировали те же явления изнутри, это был процесс изменения национальных традиций, даже утраты их. Мы не станем здесь рассматривать вопрос, были ли справедливы подобные суждения, — история сама уже дала на него ответ; отметим только, что в такой оценке фактов сходились русские люди разных возрастов и разных политических и философских взглядов — кн. М. М. Щербатов («О повреждении нравов в России»), Н. И. Новиков (журнал «Жошелек», «О великости духа русских») и Н. М. Карамзин («Наталья, боярская дочь»). Это и было свидетельством и доказательством того, что процесс, по-разному оценивавшийся западными наблюдателями и русскими авторами, был глубоким и серьезным и, конечно, не сводился к одному «подражанию».

Таким образом, ни с помощью одной «европеизации», ни посредством «способности к подражанию» объяснить быстроту развития русской культуры в XVIII веке, объяснить ее своеобразие, ее особенности нельзя: пользоваться такими объяснениями в последней трети XX века — значит закрывать глаза на методы анализа, применяемые в современной литературной науке.

5

Еще в самом начале своей научно-литературной деятельности В. И. Ленин точно и подробно охарактеризовал значение XVII века в истории России. Полемизируя с влиятельным либерально-народническим критиком-публицистом Н. К. Михайловским, утверждавшим, что существовавшие в конце XIX века в России «национальные связи, это — продолжение и обобщение связей родовых»¹, В. И. Ленин изложил свое понимание русского исторического процесса. «Если можно было говорить о родовом быте в древней Руси, — писал Ленин, — то несомненно, что уже в средние века, в эпоху московского царства, этих родовых связей уже не существовало, то есть госу-

¹ Ленин В. И., т. 4, с. 153.

дарство основывалось на союзах совсем не родовых, а местных: помещики и монастыри принимали к себе крестьян из различных мест, и общины, составлявшиеся таким образом, были чисто территориальными союзами»¹.

Затем В. И. Ленин характеризует феодальный уклад Московского государства в средние века, то есть до XVII века: «Однако о национальных связях в собственном смысле слова едва ли можно было говорить в то время: государство распадалось на отдельные «земли», частью даже княжества, сохранявшие живые следы прежней автономии, особенности в управлении, иногда свои особые войска (местные бояре ходили на войну со своими полками), особые таможенные границы и т. д.»².

Наконец, В. И. Ленин переходит к периоду возникновения национальных связей, формирования русской нации как результата экономических и социально-политических причин: «Только новый период русской истории (примерно с 17 века), — писал Ленин, — характеризуется действительно фактическим слиянием всех таких областей, земель и княжеств в одно целое. Слияние это вызвано было не родовыми связями, почтеннейший г. Михайловский, и даже не их продолжением и обобщением: оно вызывалось усиливающимся обменом между областями, постепенно растущим товарным обращением, концентрированием небольших местных рынков в один всероссийский рынок»³.

И здесь В. И. Ленин приходит к своему основному выводу, что формирование русской нации было результатом превращения купцов-капиталистов из слабой, маловлиятельной прослойки средневекового русского общества в силу, в хозяев процесса формирования всероссийского рынка: «Так как руководителями и хозяевами этого процесса были капиталисты-купцы, то создание этих национальных связей было не чем иным, как созданием связей буржуазных»⁴.

Итак, с XVII века в России формируется русская нация, буржуазия становится важным компонентом экономической жизни, развитие русской государственности движется в направлении к буржуазной монархии, а господствующим классом до конца XIX — начала XX века

¹ Ленин В. И., т. 1, с. 153.

² Там же.

³ Там же, с. 153—154.

⁴ Там же, с. 154.

остается дворянство, правительственная власть в разных формах остается дворянской. В России петровского и последующего времени вплоть до конца столетия В. И. Ленин видит «чиновничьи-дворянскую монархию XVIII века»¹.

Таким образом, отличительной исторической чертой рассматриваемой нами эпохи было то, что чиновничье-дворянское государство в своей внешней и внутренней политике фактически осуществляло один из этапов процесса превращения России в буржуазную монархию — «подтягивало» экономически и культурно задержавшуюся в своем развитии страну к уровню дворянско-буржуазных государств тогдашней Европы.

Мы видели, что у автора анонимного стихотворения «Сим молитву деет» в «Зерцале грешного» (1700) не нашлось места для буржуазии среди трех сыновей Ноя, трех социальных групп той эпохи. И это было не только потому, что свои социальные воззрения анонимный стихотворец выразил с помощью библейского предания, в котором фольклорное число «три» играло соответствующую роль; невнимание автора стихотворения к буржуазии отвечало ее незаметному положению в тогдашней России, — главные роли в истории России в XVIII веке играли дворянство, духовенство и крепостное крестьянство. И, как установили советские историки и литературоведы, прогрессивные движения в русской общественной мысли того времени были исключительно отражением положения крепостных, но выражали их, формулировали их не крестьяне, не духовенство, не буржуазия, как на Западе, а передовые слои русского дворянства, начиная с умеренного Кантемира и кончая революционером Радищевым. Конечно, были среди прогрессивных русских деятелей XVIII века и не-дворяне по происхождению — Феофан Прокопович, Посошков, Ломоносов, Плавильщиков, Крылов, но главной культурной силой оставалось все-таки дворянство. И как чиновничье-дворянское правительство, не осознавая того, толкало Россию по пути превращения в буржуазную монархию, то есть по пути более прогрессивному, чем «самодержавие XVIII века с его бюрократией, служилыми сословиями, с отдельными периодами „просвещенного абсолютизма“»², так и передовые русские

¹ Ленин В. И., т. 20, с. 121.

² Там же, т. 17, с. 346.

писатели XVIII века, дворяне и не-дворяне, сознательно и бессознательно вели русскую общественную мысль по более прогрессивному пути культурного развития, — и не вследствие «европеизации» в обычном понимании этого слова, и не вследствие своей «перенчивости» и «способности к подражанию», а в результате исторических закономерностей развития русской общественной жизни.

6

Убыстренный темп развития русской культуры в XVIII веке ставил перед тогдашними передовыми писателями множество проблем — политических, экономических, социальных, религиозных, этических, эстетических и т. д. При всем их множестве и разнообразии все же из них могут быть выделены две главные и основные: проблема политическая — «идеальный государь»; проблема социально-этическая — «идеальный помещик». Эти две темы становятся ведущими темами всей русской литературы XVIII века. Они включают в себя ряд тесно связанных с ними тем, являющихся их раскрытием: тема «идеальный государь» по контрасту ставит проблему «государь-тиран», по смежности — «идеальный подданный», «плохой подданный», «патриот», «галломан» и т. д.; тема «идеальный помещик» связана с темами «отношение к крепостным», «аморальность крепостного права» и пр.; обе эти темы с их подразделениями ведут к теме «идеальный человек». Словом, совершенно очевидно, что все эти темы тесно переплетаются друг с другом и в целом придают русской литературе XVIII века высокий моральный характер.

Из того, что было сказано выше о социально-политическом и экономическом процессе в России до XVIII века, ясно, что эта «идеальная» проблематика была продиктована русским писателям самой жизнью, исторической действительностью, а не почерпнута из просветительской литературы Запада. Подтверждением этого является настойчивая разработка Симеоном Полоцким еще в XVII веке почти всех перечисленных тем. В стихотворении «Различие»¹ он пишет:

¹ Различие.

Кто есть царь и кто тиран, хочещи ли знати,
Аристотеля книги потщися читати.
Он различие обою сие полагает:
царь подданных прибитков ищет и желает,
Тиран паки прижитий¹ всяко ищет себе,
о гражданстей ни мало печален потребе².

Стихотворение «Гражданство»³ Симеон Полоцкий начинает с тезиса:

Како преблаго гражданство бывает,
гражданствующим⁴ знати подобает,—

и затем приводит мнения «седми мудрых», то есть семи древнегреческих философов раннего периода о том, что является условием «блаженства подданных»⁵. «Дванадцать суть в мире непристойна», — пишет он в стихотворении «Непристойная»; среди этих неодобряемых им явлений он перечисляет царя, не соблюдающего своих обязанностей:

Царь на престоле славы си седящий,
а суда права людем не творящий,—

алчного к обогащению епископа:

Епископ овцы леностью пасущий,
прибитки яко волну их стригущий,—

злого помещика:

Господи, иже рабы обладает,
добродетелей хранити не знает...⁶

Большое внимание уделяет Симеон Полоцкий теме «закона». Он пишет ряд стихотворений, озаглавленных «Закон»⁷, наставляет своего ученика царя Федора Алексеевича, только вступившего на престол:

Яже подданным творити велиши,
сам прежде закон той да сохраниши.
Паче бо слава, дело подражают,
иже законом царским подлежат⁸.

¹ Прижиток, прибыль, выгода.

² Из истории философской и общественно-политической мысли Белоруссии, с. 254.

³ Подданные, население государства.

⁴ Правителям.

⁵ Указ. изд., с. 240.

⁶ Там же, с. 241.

⁷ Там же, с. 241.

⁸ Там же, с. 249.

Можно было бы привести еще немало примеров того, как в творчестве Симеона Полоцкого предвосхищаются темы, впоследствии разрабатывавшиеся русскими писателями XVIII века, источники которых литературоведы видели в произведениях западных философов и моралистов.

Ограничусь еще только одним примером — стихотворением «Брань»:

Брани в мире откуду начало имеют,
яко чюжда люди своити¹ умеют.
Два местоимения: «мое се, не твое»
кроволитие деют во мире многое.
Аще бы речения то в людях не быша
не бы взам мечами кровей си пролгца.

* * *

«Мое» и «твое», речь да упразднится,
вместо же тое «наше» да слышится.
Тогда желанный мир во мире будет,
всяк о богатстве, нищеты забудет².

Хотя произведения Симеона Полоцкого, за исключением «Псалтири рифмовторной» и «Комидии притчи о блуднем сыне», не были до XIX века напечатаны, они все же были известны многим русским писателям конца XVII — начала XVIII века.

Однако не эти произведения старого поэта, не просветительская литература Запада подсказывали русским писателям XVIII века темы «идеального государя» и «идеального помещика», «соблюдения законов» и «деспотизма государей», а русская жизнь этого столетия, — деятельность Петра I, его бездарные преемники, крепостное право, принимавшее все более уродливые формы, придворный разврат при Екатерине II, полное пренебрежение бюрократии к законам и к нуждам народа и многое другое. Традиции древнерусской литературы и, естественно, XVII века в особенности, а также западная просветительская литература помогали русским писателям XVIII века лучше разбираться в проблемах, которые выдвигала жизнь, подсказывали иногда решения; но иногда русские авторы XVIII века самостоятельно приходили к выводам, на которые наталкивали их противоречия окружающей их действительности. Вершиной таких самостоятельных по-

¹ Заставить опасаться, оберегать.

² Последний стих означает: «Всякий, располагая богатством, забудет нищету».

следовательно радикальных выводов, к которым приходили русские писатели XVIII века при решении проблемы «идеального человека», было «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева с его оправданием крестьянской революции и революционной пропаганды. Исходя из генеральной формулы Аристотеля: «человек — животное общественное», Радищев понимал, что человек-животное становится человеком только в обществе и что только в обществе человек способен правильно мыслить и правильно действовать («Дневник одной недели»).

7

В русской литературе XVIII века есть немало суждений о роли чтения в жизни человека. Конечно, и здесь Симеон Полоцкий оказался предшественником писателей XVIII века¹. Впрочем, и до него в древнерусской литературе с ее первых шагов мы встречаем похвалы чтению и книге², но здесь речь идет только о чтении религиозной литературы. В XVIII же веке даже духовные лица — Стефан Яворский, Феофан Прокопович и др. — имеют в виду и светскую книгу. Начертав план управления духовными делами в России («Духовный регламент», 1721), Феофан Прокопович остановился на роли библиотек и чтения в жизни учебных заведений для духовенства. Он писал: «...при школах надлежит быть библиотеке довольно. Ибо без библиотеки, как без души, Академия». Феофан Прокопович настаивал на том, чтобы библиотека была открыта для чтения как преподавателям, так и ученикам и даже посторонним лицам («и прочим охотникам»). Он считал, что хотя одни будут ходить в библиотеку по обязанности («по долженству»), а иные по собственному желанию («за охоту»), — все равно результат будет положительный: «Сие вельми полезно, — пишет он, — и скоро человека аки претворяет в иного, хотя бы прежде грубых был обычаев»³.

И если в начале XVIII века большая часть читателей читала, говоря словами Феофана Прокоповича, «по долженству», то позднее дети этих подневольных читателей,

¹ Указ. изд., с. 258 («Чтение»), с. 257 («Книга»), с. 257—258 («Мир есть книга»), с. 261 («Писание»), с. 263 («Частость») и др.
² См.: Шляпкин И. А. Похвала книге. Пг., 1917, с. 4—7.
³ Духовный регламент. СПб., 1820, с. 63—64.

которые «прежде грубых были обычаев» и в результате чтения «аки превратились в иных», читали уже «за охоту». XVIII век в России — это век исключительно усердного чтения, количество печатных книг выросло по сравнению с XVII веком в сотни раз, в городах и в помещичьих усадьбах возникли библиотеки, постоянно пополняющиеся их создателями или наследниками прежних владельцев. Один из журналов Н. И. Новикова даже имел название «Городская и деревенская библиотека», а другой назывался «Древняя российская вивлиофика».

Читали мужчины и женщины, читали дети. Читали и делали выписки; из-за дороговизны книг или невозможности купить нужное произведение их переписывали от руки, переплетали и хранили в библиотеках наряду с печатными. Но не только переписывали или делали выписки, но и писали свои замечания, возражения, критические отзывы. Кое-какие критические суждения тогдашних читателей в форме «пишем к издателю» попадали в журналы; другие дошли до нас в рукописном виде или были опубликованы в XIX—XX веках в исторических и литературоведческих журналах; третьи, если принадлежали переводчикам, приводились ими в предисловиях к их переводам, иногда остававшимся в рукописном виде, а иногда попадавшим в печать.

Читатель XVIII века привык не только читать, но и размышлять над читаемым и по поводу прочитанного. А размышлять о прочитанном чем дальше, тем приходилось больше. Русские писатели XVIII века в своей просветительской прогрессивной деятельности все чаще сталкивались со стеснениями со стороны правительства, со стороны цензуры. Но заранее предвидя эти возможные стеснения, тогдашние писатели находили способы довести свои идеи до читателей, не вызывая цензурных репрессий. Они выработали ряд приемов, которые позволяли им обманывать бдительную цензуру и в то же время наталкивать читателей на соответствующие выводы.

Первый прием состоял в том, что те идеи, которые писатель хотел сообщить читателю, он излагал не в собственном произведении, а в форме переводного сочинения, отысканного в какой «либо из известных ему иностранных литератур. Часто это делалось в виде переводов из Библии, в особенности из Псалтири. Так, Ломоносов перевел псалом 145: («Хвалу всевышнему владыке», который, естественно, как перевод из священного писа-

ния не вызвал возражений со стороны цензуры; но достаточно сравнить текст Ломоносова с текстом Псалтири, чтобы понять замысел поэта. Вот эти сопоставления:

Ломоносов

Никто не уповай во веки
На тщетну власть Князей земных:
Их те ж родили человеки
И нет спасения от них ¹.

Когда с душою разлучатся
И тленна плоть их в прах падет,
Высоки мысли разрушатся,
И гордость их и власть минет.

Псалтирь, Пс. 145

3. Не надейтесь на князей,
на сына человеческого,
в котором нет спасения.

4. Выходит дух его, и он
возвращается в землю
свою; в тот день исче-
зают помышления его.

Так, на первый взгляд неприметным образом Ломоносов усиливает антидворянский, даже антимонархический смысл своего перевода, придавая библейскому тексту современное, злободневное звучание. Поэтому не удивительно, что псалом 145 в переводе Ломоносова стал очень популярен в демократических кругах, даже среди крестьян.

По пути Ломоносова — который, впрочем, не был первым русским автором, использовавшим перевод в качестве заместителя и проводника собственных мыслей, — пошли многие писатели второй половины XVIII века. Из множества примеров приведу один, но очень показательный.

Державин перевел псалом 81, озаглавив свой перевод «Властителям и судиям» («Восстал всевышний бог, да судит...»). Библейский текст очень невелик, состоит из восьми кратких стихов, в каждом из которых по две коротких, сжатых фразы, представляющих параллельное развитие одной мысли (*parallelismus membrorum*). При чтении текста псалма 81 создается впечатление, что он очень явл, даже не совсем понятен, — может быть, это остаток языческой гимнологии древних евреев. Здесь явно отражена мысль, что верховный бог судит своих «сыновей», младших богов: (1. «Бог стал в сонме богов, среди богов произнес суд (...) 6. Я сказал: вы боги и сыны всевышнего все вы. 7. Но вы умрете, как человеки (...)). Державин придал удивительную силу своему

¹ Эта фраза двусмысленна: она и представляет перевод библейского текста, и означает невозможность избавиться от чего-нибудь. См.: Словарь современного русского литературного языка, т. 14. М. — Л., 1963, стлб. 477.

переводу, он полностью отбросил библейскую неясность, о каких богах идет речь, и сразу перенес действие в екатерининскую Россию с ее беззакониями, неправдой, приращениями «бессильных», с презрением к нуждам народных масс со стороны «земных богов». Кого имел в виду Державин под «земными богами», он раскрывает в последних строфах своего перевода, которые мы приведем в сопоставлении с библейским текстом:

Державин

Цари! Я мнил, вы боги властны,
Никто над вами не судья,
Но вы, как я подобно, страстны,
И так же смертны, как и я.

И вы подобно так падете,
Как с древ увядший лист падет!
И вы подобно так умрете,
Как ваш последний раб умрет!

Воскресни, боже! боже правых!
И их молению внемли:
Приди, суди, карай лукавых,
И будь един царем земли.

Псалом 81

6. Я сказал: вы боги и сыны
всевышнего все вы.

7. Но вы умрете, как человеки,
и падете, как всякий из князей.

8. Восстань, боже, суди землю,
ибо ты наследуешь все народы.

При самом снисходительном отношении к стихотворению Державина нельзя не заметить, что под видом перевода разгневанный поэт высказал свое представление о современной ему России и о Екатерине II, о которой современники говорили, что она «порабощена страстям» (отсюда стих Державина: «И вы, как я подобно, страстны»). Нельзя также не заметить, что Державин резче, чем Ломоносов, заострил библейские инвективы в своем переводе. Поэтому судьба стихотворения «Властителям и судиям» была более печальной, чем псалма 145 в переводе Ломоносова¹.

Не только Библия, но и светская иностранная литература давала писателям XVIII века возможность с помощью якобы безобидных переводов доводить до сознания русских читателей свои передовые идеи. Еще во времена Анны Иоанновны был сделан перевод «политического» романа Фенелона «Похождения Телемака», в котором излагалась прогрессивная для той эпохи теория «просвещенного абсолютизма». Хотя перевод не был тогда напечатан, он распространялся в списках. Позднее Тредиа-

¹ Державин Г. Р. Стихотворения. Л., 1957, с. 371—372.

ковский переложил этот же роман в стихи, введя при этом намеки на русскую действительность; его «Телемахида» имела большой и длительный успех, как его же перевод «Аргениды» Д. Баркляя (Беркли) и как сделанный Д. И. Фонвизиним перевод «Жизни Сифа, царя египетского», таких же «просвещенно-абсолютистских», просветительских романов.

К переводам цензура XVIII века сначала относилась менее строго, и поэтому нередко они позволяли писателям говорить царям не просто резкие, но и дерзко-смелые слова. Таковы, например, переводы с китайского в журналах Новикова и «Та-Гио» в переводе Фонвизина (с французского перевода), в которых портреты «идеальных государей» и «государей-тиранов» наводили на сравнения с русской современностью. Пожалуй, одной из самых смелых инвектив против Екатерины II в форме перевода было «Похвальное слово Марку Аврелию» А. Тома, также переведенное Д. Фонвизиним. Для иллюстрации сказанного приведу только несколько строк из конца фонвизинского, кстати сказать, в целом точного перевода.

В произведении А. Тома Аполлоний — воспитатель императора Коммода, сына умершего «идеального государя», императора Марка Аврелия, — обращается во время похорон последнего к своему воспитаннику: «Скоро скажут тебе, что ты всемогущ, но обманут тебя: пределы власти твоя суть в законе. Скажут еще тебе, что ты велик, что ты своим народом обожаем. Внемли: когда Нерон заключил в темницу брата своего, тогда ему сказуемо было, что он спаситель Рима; когда умертвил он жену свою, тогда пред ним похваляемо было его правосудие; когда лишил он жизни мать свою, тогда убийственные его руки лобызаемы были и множество стеклось во храмы богов благодарить. Не ослепляйся также и почитаниями. Если ты не будешь добродетелем, то почтен будешь наружно и ненавидим внутренно. Поверь мне, нельзя обмануть народов. Ни в чьем сердце оскорбленное правосудие не усыпляет. Царь мира! ты можешь меня заставить умереть, но не можешь заставить сердца моего почитать тебя»¹.

Политический смысл произведения Тома состоял в том, что, с одной стороны, похвалы идеальному государю Марку Аврелию, с другой — смелое предупреждение его

¹ Фонвизин Д. И. Собр. соч. в 2-х т., т. 2. М.—Л., 1959, с. 229.

недостойному сыну Коммоду служили своеобразной прозрачной ширмой для сокрытия подлинной цели, о которой прямо писал русский рецензент перевода Фонвизина: «(...) господин Томас (...) в сем преизящном своем слове умышленно написал сатиру на правление своего отечества, во время последних лет Лудовика XV»¹. А Фонвизин перевел эту сатиру, поскольку она легко могла быть истолкована как намек «на правление» его отечества, на Екатерину II, с согласия которой были убиты Петр III и находившийся в Шлиссельбургской крепости отрешенный от престола император Иоани Антонович.

8

Второй прием, которым со времен Феофана Прокоповича и Каптемира пользовались русские писатели XVIII века для проведения своих передовых идей в обход цензуры, было обращение к памяти Петра Великого, восхваление его как просвещенного монарха, «отца отечества» (Феофан Прокопович), как «идеального государя».

Не имея возможности прямо и открыто критиковать государственную власть своей эпохи и ее деятельность, писатели XVIII века вместо этого изображали соответствующие моменты во внутренней и внешней политике Петра. С цензурной точки зрения, никакого преступления в подобных обращениях к истории не было, тем более что это делалось с соблюдением всяческой благонамеренности и с соответствующими наружными проявлениями преклонения перед царствовавшими монархами. По существу же, характеризуя определенные мероприятия Петра и чаще всего в идеализированном виде, тогдашние писатели наталкивали читателей на сопоставление истории с современностью, незаметно подводили их к сравнению и оценке прошлого и настоящего и исподволь приучали к анализу и критике того, что заслуживало критики.

Особенно часто обращались русские поэты с этой целью к образу Петра в царствование Елизаветы, всемерно подчеркивая то, что «дщерь Петрова» будет следовать политике своего отца. Уже в многочисленных одах, написанных в 1742 году, сразу после вступления Елизаветы

¹ Фонвизин Д. И. Собр. соч. в 2-х т., т. 2. М. — Л., 1959, с. 672.

ты на престол и в связи с ее возвращением в Петербург после коронации, была широко использована тема «Елизавета, „Петрова дщерь“» и, следовательно, продолжательница его государственной программы. Отчетливо отразилась эта мысль в одах Ломоносова 1742, 1745, 1746 и 1747 годов, а также и в одах и «надписях» последующих лет. За Ломоносовым следовали поэты второй половины XVIII века, в особенности — в царствование Екатерины II. Сама Екатерина понимала и учитывала политический смысл «культу» Петра в тогдашней литературе и, как бы парируя нападения своих критиков, любила говорить, что, задумывая какие-либо новые мероприятия, она старается догадаться, как поступил бы на ее месте Петр. Но обмануть этими словами она могла только свое придворное окружение — и то, вероятно, не всех — и еще кое-кого, до которых доходили об этом слухи, но критически настроенные люди того времени знали действительную цену фразеологии императрицы.

В кратковременное царствование Петра III и в начале царствования Екатерины II наряду с напоминаниями о Петре Великом русские поэты проводили свои программные высказывания, обращаясь к памяти и авторитету Елизаветы Петровны. Петр III изображался как «внук Петров», на этом основании и Екатерина II оказывалась его внучкой, или «внукой». В оде 1763 года Ломоносов писал:

...ныне, чья Петрову Внуку,
Пою, как пел Петрову Дщерь.

И русские писатели, обращаясь к внуку и внучке Петра, ставили им в пример для подражания как их деда, так и Елизавету. В изображении тогдашних поэтов царствование «Петровой дщери» оказывалось порой процветания России, и новым государям рекомендовалось только следовать своим образцовым предшественникам. В «Оде на 1762 год» Ломоносов заставляет «дух Петров» обратиться к «духу» недавно умершей Елизаветы с речью, в которой сравнивает ее деятельность с будущей деятельностью Петра III:

Великодушья, щедроты
И мужества дала пример,
Чтоб руку Он (Петр III. — Л. Б.) к своим для льготы
И мечь против врагов простер...
За истинную добродетель
Земля Тебе давала плод;

Всегда преклонен был Содетель,
 В довольстве множил твой народ.
 Наследник, тою же стезею
 Ступая ревностью своею,
 Преклонит вышнее Добро.
 Была, как Ты, натура щедра,
 Открыла гор с богатством недра;
 Ему сторично даст серебро.
 Ты награждала всем науки,
 И Он щедротой оживит,
 Искусством обученны руки
 Снабдит, умножит, просветит...

В произведениях подобного рода мы уже встречаем использование третьего приема, применявшегося русскими писателями XVIII века для критики современных им отрицательных явлений действительности. Он состоял в том, что желанное, то есть то, что являлось целью, к чему нужно было стремиться, чего надлежало добиваться, изображалось как уже реализованное или по крайней мере как программа, намеченная для осуществления в ближайшем будущем. Сама грубая и бедная действительность говорила за себя, опровергала блестящие построения, и поэты хорошо знали это, но для них важно было показать идеал, внушить мысль о том, что не одной только будничной прозой определяется жизнь и деятельность людей, но и наличием, возможностью идеала.

Вот пример. Елизавета, заняв после дворцового переворота в 1741 году престол, уехала в Москву на коронацию и возвратилась в Петербург лишь в декабре 1742 года. За первые полтора года ее царствования никакого заметного улучшения в жизни страны не произошло, и тогдашние писатели это хорошо знали. Ломоносов прибегает в «Оде на прибытие ея императорского величества в Санктпетербург 1742 года» к своему излюбленному приему: он заставляет бога обратиться с речью к императрице:

Мой образ чтят в Тебе народы
 И от Меня влиянный дух;
 В бесчисленны промчится роды
 Доброт Твоих неложный слух.
 Тобой поставлю суд правдивый,
 Тобой сотру сердца кичливы,
 Тобой Я буду злость казнить,
 Тобой заслугам мзду дарить...

Здесь начертана целая программа для новой императрицы, — как в области судопроизводства, так и в отно-

шении борьбы со спесивым, высокомерным родовитым дворянством («сердца кичливы»), с политическими противниками («злость») и в отношении поддержки, поощрения сторонников Елизаветы.

Выше было сказано, что наиболее вдумчивые читатели XVIII века хорошо умели понимать ход мыслей тогдашних писателей даже тогда, когда эти мысли были изложены в, так сказать, зашифрованном виде. Об этом свидетельствуют сами писатели той эпохи. Передовой драматург конца XVIII века Я. Б. Княжнин, автор уничтоженной цензурой трагедии «Вадим Новгородский», писал в сатирическом «Отрывке толкового словаря»: «Читается трояким образом: 1) читать и не понимать; 2) читать и понимать; 3) читать и понимать даже то, чего не написано. Большая часть людей читают первым манером, но третьим весьма мало»¹.

Если мы, литературоведы, изучающие тексты XVIII века, не учтем советы Княжнина «понимать даже то, чего не написано», то есть если мы не сумеем проникнуть в логику тогдашних писателей, не определим для себя, каким способом или какими способами они доводили, пытались доводить до сознания читателей свои прогрессивные идеи, если мы не научимся читать «между строк» то, чего прямо и ясно сказать они не могли или опасались, то мы должны будем пойти по стопам историков литературы, живших в XIX веке, когда уже был утрачен ключ к чтению «зашифрованных» идей, и видевших в одах и похвальных словах XVIII века только лесть, низкопоклонство и ничего больше.

На этом позитивистском, наивно-реалистическом фундаменте подлинной науки о литературе XVIII века построить нельзя.

9

Несколько раз возвращаясь к характеристике политической структуры России в XVIII веке, В. И. Ленин в одном случае, как мы видели, определил ее как «самодержавие XVIII века с его бюрократией, служилыми сословиями, с отдельными периодами «просвещенного абсолютизма»...»². Три первых составных элемента этой

¹ Княжнин Я. Б. Соч., т. 2. СПб., 1848, с. 672.

² Ленин В. И., т. 17, с. 346.

характеристики вполне ясны, и историк русской литературы XVIII века не встречает затруднений при использовании этой формулы. Иначе обстоит с последней частью данного определения — «с отдельными периодами «просвещенного абсолютизма»...».

Сколько их имел в виду Ленин? Применяя в данном случае множественное число, он, очевидно, считал, что этих периодов было несколько, — не один, а по крайней мере два или даже три. Вполне естественно, что первый и несомненный такой период — царствование Петра Великого. Правда, дореволюционные историки России ставили вопрос, была ли она при Петре государством полицейским или «просвещенно-абсолютистским», но, как это в конце концов выяснилось, речь шла об одном и том же, и спор имел терминологический характер.

Итак, первый период русского «просвещенного абсолютизма» — период петровский.

Не вызывает сомнений также, что второй бесспорный период «просвещенного абсолютизма» в России в XVIII веке падает на царствование Екатерины II. Можно ставить вопрос о длительности этого «просвещенного абсолютизма», о его характере, об идентичности его с петровским «просвещенным абсолютизмом» или об их различиях — это будет сделано ниже, — но что в царствование Екатерины был и период «просвещенного абсолютизма», это ясно.

Нет сомнений в том, что пятнадцать лет, протекших после смерти Петра (1725) и до восшествия на престол Елизаветы, не являются периодом «просвещенного абсолютизма»: это период реакции, дикого деспотизма, как и последние годы XVIII века — царствование Павла I.

Таким образом, остается еще неясным, следует ли считать двадцатилетнее царствование Елизаветы (1741—1761) также периодом «просвещенного абсолютизма». Несомненно, в эти годы культурное развитие России двинулось заметно вперед: был дан устав Академии наук, упрочивший ее положение, был основан Московский университет (1755), учреждена Академия художеств, основан Российский театр, началось регулярное существование журналистики, сделаны попытки организации учебно-просветительских учреждений в провинциях (гимназия в Казани) и пр. Но были ли все эти факты звеньями продуманной «просвещенно-абсолютистской» политики? Молодой Пушкин в «Исторических заметках» (1822) так

охарактеризовал период после смерти Петра: «Ничтожные наследники северного исполина, изумленные блеском его величия, с суеверной точностью подражали ему во всем, что только не требовало нового вдохновения. Таким образом, действия правительства были выше собственной его образованности и добро производилось ненарочно, между тем как азиатское невежество обитало при дворе». К последней фразе Пушкин сделал важное примечание, определяющее хронологические границы этого периода: «Доказательство тому царствование безграмотной Екатерины I, кровавого злодея Бирона и «сластолюбивой Елизаветы».

Сопоставление этой блестящей характеристики, написанной Пушкиным в возрасте двадцати трех лет, с итогами исторических исследований XIX—XX веков подтверждает поразительную проникательность молодого поэта. Опираясь на суждения Пушкина, мы можем ответить на поставленный выше вопрос, является ли царствование Елизаветы периодом «просвещенного абсолютизма», так: по результатам — да, по политике — нет, «действия правительства были выше собственной его образованности и добро производилось ненарочно». Иными словами, культурный прогресс России в этот период несомненен, но он не был результатом определенной продуманной «просвещенно-абсолютистской» программы.

Чем же все-таки был вызван этот несомненный прогресс, если «азиатское невежество обитало при дворе»? Безусловно, тем, что к 1740-м годам, к началу царствования Елизаветы, стали осязательно чувствоваться результаты «просвещенно-абсолютистской» деятельности Петра, выросло новое поколение, воспитывавшееся и обучавшееся в учебных заведениях, основанных при Петре, или если и основанных после него (Сухопутный шляхетный корпус), то более или менее правильно осуществлявших его традиции; заведенные при Петре порядки, несмотря на определившуюся реакцию, сохранялись; даже так называемое «немецкое засилье» времени Анны Иоанновны, воспринимавшееся — впрочем, главным образом дворянскими идеологами — в качестве национального бедствия, имело и свои положительные стороны: страх перед Бироном, проводившим в России политику, выработавшуюся в северонемецких княжествах конца XVII — начала XVIII века, способствовал сохранению достигнутый петровского царствования в армии, флоте,

административной и культурной области. Таким образом, к началу царствования Елизаветы и объективные, и субъективные факторы, действовавшие в русской жизни, привели к парадоксальному факту: «просвещенно-абсолютистская» программа осуществлялась под влиянием общественных потребностей правительством, которое этой «просвещенно-абсолютистской» программы не имело.

Но если к началу царствования Елизаветы выросло первое поколение людей, воспитанных на все-таки прогрессивных реформах Петра, и с этим правительству приходилось серьезно считаться, то еще больше с этим общественным фактором должна была считаться Екатерина, к началу царствования которой выступило на историческую арену второе поколение людей, возраставших под воздействием идей Петра, — дети людей первого поколения. Они уже прошли школу Сухопутного шляхетного корпуса и Московского университета, читали оды, ораторские произведения и другие просветительские сочинения Ломоносова, видели на сцене трагедии и комедии Сумарокова, были хорошо знакомы с проникавшими в Россию изданиями Вольтера и других французских философов. Незаконно завладевшая властью Екатерина, человек умный, дальновидный и на первых порах довольно осторожный, не могла не понимать роль этой просвещенной части дворянства и, чтобы укрепить свои вначале довольно непрочные позиции, должна была считаться с этой потенциальной оппозицией, которая и в самом деле постепенно переросла в действительную оппозицию.

И все же было бы неправильно сводить возникновение «просвещенного абсолютизма» Екатерины II только к страху перед поколением Новикова, Фонвизина и Радищева. При всем своем поверхностном образовании Екатерина несомненно понимала ближайшие конкретные выгоды политики «просвещенного абсолютизма», результаты которого она видела и в Европе XVIII века, и в России петровского времени. Конечно, она не могла предвидеть, к чему может привести внутреннее противоречие, заключающееся в сочетании понятий «абсолютизм» и «просвещение», но внешние, временные эффекты этой политической системы она сознавала и ценила. Вполне возможно, Екатерина в какой-то мере искренно — насколько это было возможно такому неискреннему, эгоистичному, вконец избалованному и деспотическому человеку, как она, — проводила политику «просвещенного абсолютизма».

И если ее не оценили и с ней боролись передовые писатели, то это было не в результате их неблагодарности, а того, что времена изменились: тот «просвещенный абсолютизм», который был прогрессивным в эпоху Петра в соответствующих исторических условиях, через шестьдесят — пятьдесят лет, когда неизмеримо вырос культурный уровень русского общества, когда оно сильно «подтянулось» к уровню передовых европейских народов, «просвещенный абсолютизм» Екатерины оказался уже недостаточным. События в России (восстание Пугачева), международная обстановка (революция в североамериканских колониях Англии, Великая французская революция) положили конец периоду «просвещенного абсолютизма» Екатерины, а судьба Радищева и Новикова, смерть Фонвизина и Княжнина были свидетельствами полного краха «просвещенного абсолютизма» «Северной Семирамиды».

10

Характерной чертой «просвещенного абсолютизма» — по крайней мере в России — были своеобразные заботы правительства о переводе полезных книг для поднятия культурного уровня подданных. Естественно, что каждая эпоха по-своему понимала «полезность» намечавшихся к переводу книг и с разной степенью интенсивности осуществляла вмешательство в эту область культурной политики. При Петре — и главным образом, по его указаниям — переводились и печатались книги практически полезные — учебники и популярные труды по математике, географии, астрономии, военному и морскому делу и истории, а также книги, знакомившие дворянского читателя с европейскими формами вежливости в переписке («Приклады как пишутся комплименты разные», 1709) и в бытовом обиходе («Юности честное зерцало», 1717). В меньшем количестве попадали в печать переводы из античных авторов («Война мышей и лягушек», басни Эзопа, «О делах содеянных Александра Македонского» Квинта Курция, «Библиотеки или о богах» Аполлодора Афинейского) и из европейских средневековых и новых («О разорении Трои» Гвидо де Колумна, «Книга историография» («Il Regno degli slavi») Мауро Орбини, «Овидиевы фигуры» И. Крауса).

Прежде чем мы обратимся к рассмотрению переводов, напечатанных по указаниям Екатерины II и являющихся

свидетельством того, что она считала полезным чтением для подданных, необходимо сказать соответствующим образом о характере переводов петровского времени, сохранившихся в рукописном виде, и печатных, и рукописных переводах, относящихся к 1725—1760 годам.

Было бы ошибочно судить о русской переводной литературе петровского времени по тем книгам, которые попадали в печать. Типографии принадлежали правительству и работали только на его нужды. Частные заказы на печатание книг, «листов» и т. д. начинаются в России только со времени возникновения типографии Академии наук (1727), и к тому же они были немногочисленны, так как бумага и печатание были дороги. Поэтому рукописная литература еще долгое время продолжала существовать и развиваться в России, и играла не меньшую роль, чем печатная, а порою и более значительную. Это относится как к оригинальным произведениям русских авторов, так и к сделанным ими переводам.

К сожалению, у нас до сих пор нет сводного каталога русских рукописных книг XVIII века, в который вошли бы названия многочисленных произведений, рассеянных в различных советских и зарубежных научных библиотеках и архивах; число этих рукописных текстов во много раз превышает тогдашнюю печатную продукцию, в основном являющуюся предметом литературоведческого изучения. До того как будет сделана такая предварительная библиографическо-археографическая работа, наши суждения о характере тогдашней русской литературы будут довольно приблизительны.

Соотношение количества оригинальных русских сочинений и количества переводных в XVIII веке было явно не в пользу первых. Мне неизвестны статистические подсчеты по этой части, но по внешнему впечатлению, «на глаз», число печатных переводов значительно превышает число оригинальных. По-видимому, такое же соотношение оригинальных и переводных произведений, сохранившихся в рукописи.

Несомненно, обилие переводов в ту эпоху объясняется скромным мнением писателей о своих литературных дарованиях и их глубоким уважением к печатному слову и стремлением принести пользу своим единоземцам, не владеявшим иностранными языками и в то же время желавшим прочесть произведения известных авторов. В предисловии к своему переводу «Букли власов похищенных»

А. Пона плодovitый переводчик 1740-х годов Иван Шишкин писал: «...я твердо уповаю, что моя добрая воля услужить незнающим чужестранных языков, а притом замыслы творца и шутки произведут и мне в читателях снисхождение»¹. «Я,— писал переводчик «Новой Елоизы» (1769) П. Потемкин,— сей труд воспринял единственно для того, дабы показать ему (обществу.— П. Б.) мою услугу переводом таких писем (произведений.— П. Б.), которых давно уже иметь на российском языке желают»².

Свидетельства переводчиков характеризуют не только их субъективные побуждения, но и объективную потребность культурных слоев русского общества приобщиться к интеллектуальной и эстетической жизни тогдашних европейских народов. Эта потребность удовлетворялась как непосредственным чтением на французском, немецком и других языках, книги на которых ввозились в Россию в XVIII веке в большом количестве, так и с помощью переводов, которые существовали в русской литературе с самого ее возникновения.

Переводы, делавшиеся в России в XVIII веке, следует разделить на две группы: предпринимавшиеся по предписаниям правительства, включая сюда — в более позднее время — Академию наук, Сухопутный шляхетный корпус, Московский университет и пр., и осуществлявшиеся по личной инициативе переводчиков или по заказу состоятельных любителей чтения, как, например, князь Д. М. Голицын (1665—1738)³.

Что представляла собой печатная переводная книга при Петре, мы видели. Но вот что писал более ста лет назад акад. П. П. Пекарский, специально исследовавший состояние русской культуры в первой четверти XVIII века: «При рассмотрении рукописной нашей литературы

¹ См.: Берков П. Н. Иван Шишкин — литературный деятель 1740-х годов. — В кн.: Вопросы изучения русской литературы XI—XX веков. М. — Л., 1958, с. 56. — *Ред.*

² Сиповский В. В. Из истории русского романа и повести (Материалы по библиографии, истории и теории русского романа). Ч. 1. XVIII век. СПб., 1903, с. 172.

³ Большая часть рукописных книг по философии, праву, политике и истории в библиотеке Голицына была переведена во время его пребывания в Киеве генерал-губернатором и по его поручению преподавателями и студентами Киево-Могилянской академии. См.: Пекарский П. П. Наука и литература в России при Петре Великом, т. 1. СПб., 1862, с. 267.

той эпохи, не без удивления замечаешь внезапное появление переводов таких произведений, которые в Европе XVII столетия были предвестниками последовавших там потом преобразований и в науке, и в жизни». «Если рассматривать в совокупности русские переводы подобных сочинений,— продолжает Пекарский,— то нетрудно убедиться, что они делались с целью ознакомиться с теми результатами, которых достигла наука на западе по части политического устройства государств, законодательства, истории и настоящего положения их»¹. При этом Пекарский в примечании более чем на двух страницах перечисляет переводы из С. Пуфендорфа («О законах естества и народов»), Гуго Гроция («О законах брани и мира») и несколько десятков других западных ученых².

Значительно меньше внимания переводчиков первой трети XVIII века привлекала к себе художественная литература. С середины 20-х годов XVIII века стали появляться довольно слабые рукописные переводы-переделки французских прециозных романов XVII века. Перевод «Voyage de l'Île d'Amour» Поля Тальмана, изданный В. К. Третьяковским в 1731 году («Езда в остров любви»), был первым русским печатным переводным романом. Но и в течение ближайших двух-трех десятилетий лишь очень небольшое число переводных произведений художественной литературы выходит в свет в печатном виде. Это преимущественно античные классики — Гораций, Корнелий Непот, Полибий, Ксенофонт, «Двустипшия» Катона и др., но здесь же мы встречаем «Придворного человека» Бальтазара Грациана, Фонтенеля, Монтеня, Фенелона, Баркляя и пр.³

По причинам, указанным выше, нам сравнительно мало известны переводы этого периода, сохранившиеся в рукописях, но все же можно назвать переводы из Анакреона (Кантемир), Овидия (анонимный), «Потерянный рай» Мильтона, «Памела» Ричардсона (1733), «Сенека христианин» и многие другие.

С конца 1720-х годов в русских журналах («Примечания к Ведомостям», затем «Ежемесячные сочинения» и

¹ Пекарский П. П. Наука и литература в России при Петре Великом, с. 267.

² Там же, с. 255—257 (примечание).

³ Кн. Туркестанов Н. Каталог иностранной литературы в России (1740—1810). Из Сопиковой библиографии. М., 1894; Архангельский А. С. Императрица Екатерина II в истории русской литературы и образования. Казань, 1897, с. 6.

др.) обязательно печатаются переводы античных и новых европейских авторов, иногда с сохранением их имени, нередко с глухим указанием: «переведено с немецкого», «с датского». Учесть и классифицировать это огромное множество материалов не представляется сейчас возможным. Равным образом почти неосуществим замысел собрать полные сведения об отдельно изданных переводных книгах, напечатанных в царствование Екатерины и оставшихся в рукописях. Проф. А. С. Архангельский сделал попытку бегло перечислить важнейшие печатные переводы последней трети XVIII века и притом только изданные в виде книг. Он писал: «Переводятся сочинения важнейших современных писателей — французских, английских, немецких, отчасти датских и др. Переводы главным образом делаются с французского, наиболее известного, или немецкого, но иногда также с английского. Перед нами целая библиотека; трудно перечислить всех авторов, с которыми теперь знакомятся русский читатель... На первом плане — переводы сочинений писателей литературы «просвещения». Переводится разом чуть ли не весь Вольтер...»¹ Далее он перечисляет имена переведенных на русский язык французских писателей (Фенелон, Мопертюг, Даламбер, Гельвеций, Кондильяк, Ж.-Ж. Руссо, Монтескье, Корнель, Расин, Мольер, Дидро, Бомарше, Мармонтель, Мерсье, Бюффон и др.), английских (Локк, Поп, Юм, Свифт, Фильдинг, Аддисон, Гольдсмит, Смоллет, Стерн, Ричардсон, Оссиан-Макферсон, Э. Юнг, Шекспир и др.), немецких (Рабенер, Геллерт, Гесснер, Виланд, Клопшток, Лессинг, Гете, Шиллер и пр.), датских (Гольберг), итальянских (Петрарка, Тассо, Ариосто, Метастазियो), испанских («Сервантес») и др.

Особый интерес представляет перечень переведенных в этот период античных авторов — греческих и римских. Интерес к этому разделу литературы, пользовавшемуся в Европе в XVIII веке исключительным авторитетом, проявлялся у двух групп русских переводчиков — владевших древними языками и не владевших и переводивших произведения античных авторов с французского. Впрочем, последние переводили, главным образом, Овидия, отчасти Цицерона и др.

¹ Архангельский А. С. Указ. соч., с. 9.

Переводы же непосредственно с классических языков заслуживают более подробного рассмотрения. Дело в том, что по ряду причин ни в дореволюционном, ни в современном советском литературоведении не был с должной серьезностью поставлен и исследован вопрос о роли античной культуры в формировании русской литературы. В результате этого у западноевропейских литературоведов, занимавшихся вопросом о роли латинской струи в складывании европейских литератур (П. ван Тийгем, Курциус Э. Р.), русская литература полностью выпала из поля зрения. Даже больше того, — у Курциуса в его замечательном труде «Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter» проводится мысль, что только западноевропейские народы являются наследниками «Romanica».

Я думаю, что, если бы соответствующие материалы по вопросу о роли античных литератур в развитии русской литературы были известны европейским исследователям, их суждения и выводы были бы сдержаннее, осторожнее.

Уже в XII веке крупнейший тогдашний поэт Симеон Полоцкий был хорошо знаком с античными, средневековыми и некоторыми новолатинскими философами и историками и черпал из них подтверждения своим мыслям и суждениям. Он владел древнегреческим, латинским и польским языками и на двух последних даже писал. Именно с него началось в России серьезное обращение к античным писателям, продолженное его учениками Сильвестром Медведевым и Карионом Истоминым, а затем Стефаном Яворским, Гавриилом Бужинским, Феофаном Прокоповичем и другими писателями из духовенства. Прекрасно владели и древнегреческим, и латинским языками Кантемир, Ломоносов, В. Петров, одной латынью — Тредиаковский, М. Н. Муравьев, В. Капнист и др.

Симеон Полоцкий, его ученики, Стефан Яворский, Феофан Прокопович, Тредиаковский, Ломоносов и другие тогдашние писатели писали на латинском языке стихи и ораторские произведения. Торжественные собрания в Академии наук, Московском университете, духовных академиях и семинариях обязательно сопровождались в XVIII веке чтением похвальных слов и стихов на латинском и греческом языках. Эта традиция сохранилась и в XIX веке. Латинская поэзия в России продолжала существовать и в конце XIX — начале XX века, есть сейчас в СССР поэты, пишущие на древнегреческом

латинском языках и пользующиеся признанием среди европейских ценителей «viva Camena»¹.

Движимые желанием послужить русскому обществу своими знаниями античных языков, лица, владевшие древнегреческим и латинским, с XVII века начали переводить произведения классиков на русский язык, и чем дальше, тем больше. Подлинный расцвет переводов с античных языков начался во вторую половину XVIII века. Были переведены Гомер, Анакреон, Сафо, Плутарх, Демосфен, Платон, Аристотель, Феофраст, Исократ и др., Вергилий, Гораций, Овидий, Федр, Цицерон, Саллюстий, Светоний, Тацит, Валерий Максим, Афинагор, Апулей, Авл Гелий, Бозтий и др.²

Переводы делались также и с китайского, о чем уже выше говорилось, с персидского («Кринный дол» Саади), грузинского и других восточных языков.

Таким образом, в течение XVIII века русская литература, благодаря интенсивной деятельности переводчиков, получила огромное приращение, давшее возможность многочисленным читателям пополнить свое образование и знакомиться с памятниками почти всей известной тогдашнему европейскому миру философской, политической, исторической и художественной литературы.

В связи с вопросом о переводах, осуществленных в России в последней трети XVIII века, следует вспомнить о том, что нами оставлена неосвещенной роль Екатерины II в этой области. Дореволюционные историки и историки литературы, стоявшие на позициях позднего «про-

¹ См. мою статью «Русские — новолатинские и греческие поэты XVII—XX вв.» (L'Annuaire de l'Institut de Philologie et d'histoire Orientales et Slaves, t. 8 (1966—1967). Bruxelles, 1968, p. 1—54).

² Черняев П. Н. Следы знакомства русского общества с древнеклассической литературой в век Екатерины II. Воронеж, 1905; Лобода А. М. К истории классицизма в России в первую половину XVIII столетия. Киев, 1914; Кутателадзе Н. Н. К истории классицизма в России. Анакреонтические песни в русской литературе XVIII столетия (Историко-литературный этюд). Воронеж, 1915; Лебедев В. Указатель ко всем учебным изданиям и переводам по классическим (греческому и латинскому языкам) с начала книгопечатания до 1871 года включительно. М., 1878; Прозоров П. И. Систематический указатель книг и статей по греческой филологии, напечатанных в России с XVII столетия по 1892 г. СПб., 1898; Нагуевский Д. И. Библиография по истории римской литературы в России с 1709 по 1889 г. Казань, 1889; Busch W. Horaz in Russland. München, 1964. (S. 237; bibliographische Hilfsmittel.)

свещенного абсолютизма» и возводившие всякое движение литературы к инициативе или покровительству государей, считали, что чуть ли не вся литературная деятельность в царствование Екатерины была целиком связана с ней и обязана ей. Между тем это вовсе не так. В противовес мнениям историков и литературоведов XIX — начала XX века можно привести одну из записей Пушкина, относившихся к задуманной поэтом статье по истории русской литературы: «Словесность отказывается за нею (Екатериной. — П. Б.) следовать, точно так же, как народ»¹. А Пушкин очень хорошо знал общественную, политическую и литературную обстановку в России при Екатерине по рассказам людей старшего поколения, к числу которых принадлежали его родители и родственники, а также благодаря знакомству с рядом семейных архивов.

Слова Пушкина о том, что русская словесность отказалась следовать за Екатериной, относятся не только к оригинальной литературе, но и к переводной. Это наглядно подтверждается историей учрежденного Екатериной Собрания, старающегося о переводе иностранных книг на русский язык.

Оно было организовано императрицей в 1768 году. Екатерина ассигновала из своих личных средств по пять тысяч рублей ежегодно на расходы по оплате труда переводчиков и печатанию книг, назначила наблюдателей или руководителей Собрания и затем, в течение пятнадцати лет, до 1783 года, когда это учреждение было закрыто, почти не проявляла к нему, насколько можно судить по сохранившимся материалам, интереса². Между тем Собрание осуществляло переводы не только отдельных произведений Корнеля, Вольтера, Монтескье, Руссо, аббата Мабли, Свифта, Фильдинга, Геллерта, Сульцера, Марини, Тассо, а из античных авторов — Элиана, Гомера, Гесиода, Лукиана, Диодора Сикулийского, Геродиана, Белея Патеркула, Цицерона, Вергилия, Валерия Максима, Овидия и т. д., но и ряда статей из «Энциклопедии» Дидро и Даламбера и из «Географии» А. Бюшинга. Из

¹ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 17-ти т., т. 11. М. — Л., 1949, с. 496. Ср. мою статью «Пушкин и Екатерина II». — Учен. зап. Ленингр. гос. ун-та, 1955, № 200. Сер. филол. наук, вып. 25, с. 212—215.

² Семенников В. П. Собрание, старающееся о переводе иностранных книг, учрежденное Екатериной II. 1768—1783 гг. Историко-литературное исследование. СПб., 1913.

ста одиннадцати книг, изданных Собранием, старающимся о переводе книг иностранных на русский язык, только одна была переведена и напечатана по «всевысочайшему повелению великой законодательницы всероссийской», то есть Екатерины II; это было «Истолкование английских законов г. Блэкстона» (1780).

Поэтому можно с полным правом сказать, что переводческая деятельность в России в царствование Екатерины осуществлялась если не вовсе вне руководства «просвещенного монарха», то при минимальном ее внимании. Переводческая деятельность почти полностью была результатом общественной и личной инициативы передовых русских писателей XVIII века.

До сих пор мы говорили только о том, что переводилось и — отчасти — кем переводилось. Необходимо указать на роль переводов в развитии русского литературного языка. Несмотря на явные перегибы, допускавшиеся некоторыми переводчиками в понимании ломоносовского учения о трех штилях, часто приводивших их к искусственной славянизации литературного языка, в целом переводы сыграли очень положительную роль: они заставляли переводчиков отыскивать в словарном запасе русского и славянского языков наиболее подходящие существующие слова или создавать на их основе неологизмы, которые нередко бывали очень удачны и оставались затем в литературном обиходе.

Очень значительную роль в этом отношении сыграли переводчики или составители двуязычных «иностранно-русских» и «русско-иностранных» словарей. Такие словари стали появляться сначала в рукописной, а с конца XVII — начала XVIII века — в печатной форме. Такие словари, как «Лексикон трехязычный» Федора Поликарпова (1704), «Немецко-латинско-русский Вейсманов лексикон» (1731), «Словарь, французскою Академиею сочиненный, а в Санктпетербурге напечатанный с прибавлением российского языка» (1773; только буква «А», 227 страниц), были своеобразной филологической лабораторией, в которой формировались то более, то менее точные и удачные русские эквиваленты иностранных слов.

Наконец нужно вновь напомнить о роли переводов как способа ставить перед русскими читателями злободневные политические вопросы и давать на них ответы, иногда очень смелые и радикальные, в обход строгой цензуры.

Мы видим, таким образом, что, с одной стороны, в XVIII веке быстро развивалась оригинальная русская литература, а с другой, что «именно в это время, многозначительное в истории русской культуры, были перенесены на русскую почву произведения почти всех главнейших писателей, не только нового времени, но и древнего мира. Можно сказать, что в екатерининское царство Россия, в просвещенных слоях своего общества, приобщилась к тому векам накопленному культурному достоянию, которое представляла собою литература Западной Европы»¹.

Как же реагировало русское общество на это ускоренное культурное и литературное развитие? Естественно, что поспеть за столь ускоренными темпами умственной жизни могли только люди наиболее сильные в интеллектуальном отношении, наиболее способные не потеряться в потоке новых идей, понятий, сведений, фактов, только люди, выработавшие в себе твердые принципы, твердые нравственные критерии, позволившие им разобратся в сложностях и противоречиях этой трудной эпохи.

В первую половину XVIII века русским людям казалось, что достаточно поступать согласно принципам разума, и тем самым будут решены все сложности жизни общественной и личной. Но уже в середине XVIII века они создают себе новую, но опять-таки на рационалистической основе построенную концепцию: все зависит от морали, диктуемой разумом; мораль есть политика в отношении отдельного человека; политика есть мораль в приложении к отдельному государству или в приложении к государствам в их взаимоотношениях. К концу века — и под влиянием развития самой русской жизни, и в результате отбора и усвоения достижений европейских литератур — старая формула меняется: на место рационалистической морали ставится сердце, добродетель, чувство. Если раньше заботились о «просвещении умов», то в последнюю треть говорят о чувстве и — еще больше — о сочувствии. Самые передовые говорят о сочувствии угнетенным, то есть крепостным крестьянам, и в лице Радищева оправдывают крестьянскую революцию.

¹ Семенников В. П. Указ. соч., с. 5.

Очень просто связать эту русскую эволюцию идей с эволюцией европейских философских и эстетических учений XVIII века. Но надо было пережить петровскую эпоху, когда, говоря словами, сказанными В. И. Лениным, «Петр ускорял перенимание западничества варварской Русью, не останавливаясь перед варварскими средствами борьбы против варварства»¹, надо было на своих плечах почувствовать бироновщину, затем царствование «кровавой» Елизаветы и «либеральной» Екатерины, чтобы прийти до революционных выводов Радищева. Одними рассуждениями о «влиянии» европейских идей, литературных направлений, политико-экономических и этических теорий не объяснить русской эволюции идей XVIII века: надо знать и помнить особенности русской истории этого столетия — менялись формы классового угнетения, но сама дворянская диктатура, усугубленная укреплявшейся капиталистической эксплуатацией, оставалась. Да и формы классового угнетения менялись мало и медленно.

Кроме того, нельзя забывать еще одно. С западной общественно-политической жизнью и идеями русские люди стали ближе сталкиваться с конца XVII — начала XVIII века, когда Петр заставлял их с дипломатическими или образовательными целями отправляться в европейские страны. Перед этими — сначала подневольными, а затем добровольными — путешественниками вставала дилемма: «родина — чужбина», «Россия — Европа». В русской литературе эта тема появляется уже в петровскую пору, когда анонимный автор «Истории о Василии Карлотском» указывает, что герой родился «в Российских Европиях». Здесь бессознательно, а, впрочем, может быть, и вполне сознательно, проводится мысль об органическом единстве России и Европы. Но в «Стихах похвальных Парижу» и «Стихах похвальных России» Тредиаковский в конце 1720-х годов уже зафиксировал эту трагическую дилемму «Россия — Европа», которая в разных вариациях прошла через всю русскую литературу и дошла до советской поэзии («Я хотел бы жить и умереть в Париже, если б не было такой земли — Москва!» — Маяковский).

Патриотическая тема проходит через всю русскую литературу XVIII века — нет положительно ни одного крупного и даже второстепенного писателя того столетия, который бы не говорил о своем понимании особой истори-

¹ Ленин В. И., т. 36, с. 301.

ческой роли России. Об исторической избранности России говорил не только Тредиаковский в «Стихах похвальных России», но и Ломоносов в последнем стихотворении из цикла «Разговор с Анакреоном», говорил и Радищев, называя русский народ «к величию рожденным». Вера в свой народ, в его физическую и духовную мощь, в его историческое предопределение была одной из сильнейших и важнейших особенностей русской литературы XVIII века.

Самый факт наличия этой большой идеи на протяжении всего XVIII века является свидетельством того, насколько ошибочны суждения о подражательном, ученическом, рабски несамостоятельном характере русской литературы этого столетия: не в западных же источниках была почерпнута идея исторической избранности России. Она была связана с традициями древнерусской литературы, где эта идея в зачаточной форме проявляется в легенде о посещении апостолом Андреем Киева (в «Повести временных лет»), в «Слове о законе и благодати» Илариона, в анонимном «Слове о гибели Русския земли» и раскрывается в полном виде в знаменитой концепции о «Москве — третьем Риме».

И если после всего сказанного выше нужно было бы кратко суммировать, в чем состоит главная особенность русского историко-литературного процесса XVIII века, то я позволил бы себе сформулировать это так: в глубокой убежденности в том, что сыны такой исторически избранной страны, как Россия, должны быть достойными этого в моральном, интеллектуальном и политическом смысле — и что литература только этому и должна служить.

Дореволюционное литературоведение, под гипнозом предвзятой идеи о «подражательности» литературы XVIII века, создало концепцию, согласно которой будто бы только начиная с творчества Пушкина русская литература «освобождается» от своего «ученичества» у Запада и становится самостоятельной.

Анализ особенностей русского литературного процесса XVIII века, установление наличия преемственных связей у литературы XVIII века с древнерусской литературой, несомненная самостоятельность в отборе материалов

для перевода и усвоения, критическое отношение к некоторым идейным течениям и явлениям в литературе тогдашней Европы, глубокая этичность и политическая направленность лучших оригинальных русских произведений той эпохи являются самоочевидным свидетельством ошибочности старых взглядов на литературу XVIII столетия как на период ученичества, период «влияния» западных литератур.

В «Евгении Онегине» Пушкин шутливо говорил:

Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь.

О русской литературе XVIII века можно без всякой шутливости сказать: она училась много, училась всему важнейшему, что к тому времени создала мировая культура, и училась серьезно, не «как-нибудь», придавая литературе большое общественно-воспитательное значение.

Об этом лучше всего говорит ее роль в истории русской литературы XIX века, тесная идейная, эстетическая и языковая связь последней с литературой XVIII века. Но если бы мы стали хоть сколько-нибудь подробно говорить о национальных традициях литературы XIX века и ее связях с литературой XVIII века, это была бы уже иная тема — об особенностях русского литературного процесса XIX века, — тема, выходящая за непосредственные границы настоящей статьи.